



## Архимандрит ФЕОДОР (А. М. БУХАРЕВ)

### Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году

<фрагменты>

#### К ЧИТАТЕЛЮ

<...> Известно, что, когда покойный Гоголь издал «Выбранные места» из своей переписки, образовалось общее почти мнение, будто он отказывается от своих прежних творений как уже противных новому его направлению. Одни, именно прежние его поклонники, считали его изменником пред искусством и самую истинною и приписывали эту перемену болезненному его расстройству. Другие, и это даже самые поборники начал, провозглашенных Гоголем в «Выбранных местах из переписки», большею частью с недоверием смотрели на эту книгу и отыскивали в покойном признаки духовной гордости. Иные, может быть, и из самых его друзей, колебались между тем и другим взглядом на Гоголя, жалели, судили, недоумевали. Были и такие, как мне известно, и это наилучшие из всех, которые с живейшею любовью поддерживали и развивали возникшее в нем сознание истины в одном Христе; но они не заботились и, может быть, не могли отчетливо помирить Гоголя с прежнею деятельностью, так, чтобы он благословлял и с бодростью продолжал свое поприще. Между тем сам он находился тогда в положении человека, который, идя своею, независимою от других дорогою, им же самим и пролагаемою, решительно уже выходил из многого, прежде более или менее бессознательного, в полную, разумную и опытную отчетливость духа. В таком переходном положении мысль и чувство и вся душа находятся точно в болезнях рождения, требующих самого заботливого внимания и ухода близких. Всего тяжелее и опаснее для покойного было неизбежное раздвоение его духа между своею прежнею, не оза-

ренною прямо благодатным сознанием деятельностью, и вновь открываемся, как будто не похожим ни на что прежнее, сознанием истины в одном Христе. Надобно было из слов и дел самого Гоголя выяснить пред ним и пред публикой, что в существе дела не было и нет противоречия между прежнею его деятельностью и новым духовным сознанием: в первой уже глубоко завито было последнее, последнее, вполне раскрывшись, только увенчивало первую. Раскрытию этого во славу Христовой истины и благодати, освящающей верующего человека на всех его путях, и посвящены были «три письма», здесь предлагаемые, которые при самом написании их были назначаемы в печать, но по обстоятельствам доселе оставались в рукописи.

Гоголь умер. Но понятия о нем остались и иногда повторяются прежние; переписка его, изданная во всей возможной полноте, выясняла образ его только в общежительных отношениях покойного к современному обществу и к его условиям, которым Гоголь уплачивал свою долю дани. Дело и значение Гоголя остаются и доселе для одних загадочными, а у других только односторонне решенными. Да и самое общее сознание о высших или действительно верных началах искусства и науки едва ли сколько-нибудь подвинулось у нас вперед после Гоголя, хотя стремление к возможно точной отчетливости в мысли стало, по-видимому, сильнее прежнего, по крайней мере, резче выражается ныне.

<...>

«Но зачем духовному человеку вмешиваться в дела и запутанности мысли и литературы светской? Что общего у богословской точки зрения с мирским словом?» На подобные возражения (которые приходилось мне слышать и при самом изучении Гоголя) прежде всего хочется рассказать один случай, касающийся также Гоголя.

Ему случилось быть в одном из высших духовных учебных заведений<sup>1</sup>. Студенты приняли его с восторгом, и когда при этом высказано было Гоголю, что особенно живое сочувствие возбуждает он к себе тою благородною открытостью, с которою он держится в своем деле Христа и Его истины, то покойный заметил на это просто: «Что ж? Мы все работаем у одного Хозяина». И так вот и светский человек не хотел отделять своего дела от благодатного владычества Христова; тем более служителю Христовой благодати свойственно и должно служить распространению благодатного осенения на все, сколько возможно. <...>

## ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вы не раз публично выражали сильное желание, чтобы читатели ваши сообщали вам свои мнения о сочинениях ваших. Вы говорили, чтобы в таком случае они писали просто, без излишней заботы о слоге, имея в виду одно — сделать мысль свою совершенно понятною. Потому я, один из ваших читателей, и решаюсь сказать вам свои мысли касательно последнего вашего сочинения — «Переписки с друзьями»; буду по возможности говорить просто и прямо. И так как последнее ваше произведение уже стало достоянием публики, то признаю приличным и говорить о нем с вами открыто пред публикою. Да и в самом деле, нужно заботиться, чтобы творение, изданное в свете, было понято всеми в своем истинном значении. Не беру на себя быть удовлетворительным во всех отношениях истолкователем вашей последней книги. Довольно будет с меня, если бы только отчасти сумел я дотронуться до той великой и живой мысли, которая вас одушевляет и столь чудно выразилась в вашем последнем сочинении. Довольно, если бы удалось мне хотя указать точку, с которой надобно смотреть на вас. <...>

В мире и жизни вы смотрите или желаете смотреть на все в соприкосновении с Богом, который Один возносит и выводит все из глубины ничтожества, Который есть Отец всех и сама любовь, соединяющая всех союзом самого близкого и прекрасного родства <...>. Уметь бы только на все смотреть в таком соприкосновении с Богом, тогда во всем можно открыть мудрое значение, всякое творение явится прекрасным, все события будут внушать трепетное благоговение к Промыслу и давать духу прозирать в настоящее, отчасти и в будущее.

Итак, вы оптимист? На все смотрите в радужном свете? Нет; никто, кажется, столь хорошо, как Вы, не видел и дурной стороны в человеке и в мире. Зло духовное, порок вы понимаете и изображаете во всей его гнусности и ядовитости, знаете, что мы так и родимся с этим смертоносным злом, что область и действия его в мире нашем обширнее области добра и чистоты духовной. Вы называете служителей добра *избранными*. Видите вы и прекрасного, но дремлющего молодого человека: видите, как несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясовицы, ежедневное сонное опьянение; видите, как он нечувствительно облекается плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души... Видите и ведьму — старость, идущую незаметно к такому

человеку, которая вся из железа, перед которою железо — милосердие, которая ни крохи чувству не отдает назад и обратно. Вы видите дельных людей, но предавшихся унынию, которое делает человека дрянью во всех отношениях, — имели дело с такими людьми, у которых много прекрасных свойств, но которые по недостатку крепкой воли и власти над собою находятся в опасности погубить все достоинства свои в беспорядочности действий и сделаться наконец олицетворенными бессилиями. Указываете живо на лихоимца, и на его проклятую роскошь и на его жену, погубившую щегольством и тряпками и себя и мужа, и даете чувствовать всю презренность порога их богатого дома, гнусность самого воздуха, которым там дышат. Особенно глубок и точен ваш взгляд на общую почти язву нового времени — гордость и нравственную чистоту своею, и особенно умом, гордость, через которую неминуемо и более, нежели чрез что другое, отпадает человек от Бога любви, расторгает все связи любви, убегает даже от самого себя прямо в руки к сатане, отцу самонадеянности. Вы знаете, как, потому, при всех мечтательно-высоких замыслах гордого человека далеко от его мысли освящение небесное, как при хвастливых порывах к добру такой человек не умеет сделать прочного и истинного добра, как в умных, по-видимому, проектах его более боязни какого-то зла, угрожающего в будущем, нежели предусмотрительности и светлого, бодрого взгляда вперед. Вы знаете, как этот гордый человек, при всех притязаниях своих на благородство и человеколюбие, бесчувственно отрекается от братства с человеком, оскорбившим его даже малейшей насмешкой над умом его, с человеком, несогласным с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях или страждущим виднее других тяжелыми ранами своих душевных недостатков. Вы заметили, что гордый человек во всем усомнится: в сердце человека, которого он несколько лет знает, в правде, в Боге усомнится, только в себе или уме своем не усомнится. Вы хорошо видите, как этот же самый гордый человек не менее, как и лихоимец, с своей живущей для одного щегольства женой, не менее, как и тот несчастный, кого несут далее и далее от берега ноги плясовицы и постоянное опьянение, боится не исполнить малейшее приказание внешних приличий и моды, дрожа пред нею, как робкий мальчишка. Чувствуете вы, что при повсюдном почти разлитии зла начинает исчезать свобода в ее истинном значении; человек обратил себя в подлое подножие всего и в раба самых пустейших и мелких

обстоятельств... И непонятною тоскою, говорите вы, уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет и возрастает только, в виду всех, один исполинский образ скуки... Слышите, как раздаются вопли страданий человечества, как мечется бедный человек, не зная сам, как и чем себе помочь; всякое прикосновение к его исцелению — уже жестоко разболевшимся его ранам... А как вы понимаете и живо по собственному опыту чувствуете действие другого рода — бедствия физические, эти нервические недуги, в которых все тело до последней частички болит; эти припадки агонии, жизненного онемения, в котором и живой замирает до того, что сердце и пульс перестают биться! Как понимаете вы бедствия еще иного рода, тяготеющие часто даже над избранною частью рода человеческого, когда человек с нежною, истинно благородною душою терпит грубые обвинения, терпит презрение от презренных — человек с возвышенными чувствами живет среди грубых, неуклюжих людей, которых уже одно бесчувственное прикосновение в силах разбить даже без их ведома лучшую драгоценность сердечную, медвежью лапою ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выразить небесные звуки, расстроить и разорвать их и проч.!.. Кто так поразительно и глубоко проникал в эту могильную, страшную пустоту мира, в которой если и очутится что живое, становится еще страшнее от раздирающих воплей жертвы?.. С намерением распространился я об этом вашем столь широком взгляде на пустую, мертвую сторону бытия и жизни. Где выход из этой могилы? Теперь, по-видимому, для вас в мире все черно и пусто, так же как прежде вы показались было оптимистом. Где примирение этих столь несовместимых противоречий?

«В день Воскресения Христова, — отвечаете вы, — нет ни подлых, ни презренных людей; но все люди — братья той же самой семьи, и всякому человеку имя брата, а не какое-либо другое. В этот день разошедшиеся люди скликаются вместе, дабы каждый взглянул в этот день на человека как на лучшую свою драгоценность, так обнял и прижал его к себе, как наироднейшего своего брата; так бы ему обрадовался, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который неожиданно к нам приехал. Еще сильнее, еще больше! Потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному Небесному Отцу, в несколько раз ближайшему нашего земного отца, и день этот мы

в своей истинной семье, у Него именно в доме. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключая из него ни одного человека...» Теперь понимаю я вас. В Воскресении Христа, Который есть сходящее на землю Слово, восприявшее к Божественному естеству и человеческое, как вы хорошо высказываете в одном месте и эту мысль, в Воскресении Христа, Который и на землю пришел для принятия на Себя всей этой тяжести зла, тяготевшего на людях, почему и умер и во ад сходил — вот в чем вы созерцаете воссиявшую для человечества во всей его могильной темноте и пустоте Божественную, живородящую и всеобъемлющую Любовь. Теперь в новом свете представляется мне ваш какой-то торжественный, величественный взгляд на мир. В живом соприкосновении к Вседержавной любви, творящей жизнь в самой области смерти, на что ни посмотри в мире, точно в каком мудром, возвышенном значении все представляется — как все величественно и прекрасно, при всех видах разрушения и безобразия. Ибо Она среди безобразия и тления и являет свою вечную красоту, среди разрушения и разливае свою жизнь. Нечего и договаривать всего: дело ясное — и я понимаю ваш сопровождаемый умилением и благоговением пред Богом светлый взгляд на все, не омрачаемый нисколько мрачною пустотою жизни человеческой. С другой стороны, мне теперь понятнее и этот столь углубленный, столь пронизывающий взор и на пустоту и пошлость в мире: пред светом живой и животворной Вечной любви, снизошедшей до самых последних глубин нашего зла, до ада, только и можно до корня проникнуть смертоносное зло в мире. Да! Только кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой, приметит и признает, что нет никого правого из людей, а прав один только Бог, пред которым все виноваты.

Итак, вот пункт, с которого вы смотрите на все: это Воскресение нашего Спасителя или любовь Бога, обнимающая в Воскресшем Спасителе всех-всех и грешных скликающая в одну семью, в один дом Отца Небесного.

Сия-то любовь Бога или чрез своих представителей, или чрез обстоятельства, или непосредственным благодатным внушением вооружает каждого, послушного, разумеется, тем высшим взглядом на себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе брань против всего темного. Она-то, судя по приемлемости и потребностям каждого,

в ином распоряжается так, что пред ним постепенно и понемногу открываются его же дурные качества, его же душевные низости и мерзости, и дает против них воевать и постепенно изгонять их более и более; другому может разом выставить на вид все гнуснейшие его пороки, вдруг пробудить его от позорного сна, побудить плюнуть в виду всех на все свои мерзости, сбросить с себя вдруг и разом все позорящее высокую природу человека и стать первым ратником добра. И чем виднее в ком страдания тяжелыми язвами душевных недостатков, чем крепче вопли сих страданий, тем сильнее они вызывают высшую Божескую любовь на участие в себе, так что обращению грешника она более радуется, нежели праведнику, и все небесные силы участвуют в небесном пиршестве Божиим. Только бы серьезно кто обратился к Божественной любви, спасающей нас, искал и просил всего у ней, всякого она примет, и сильный у нее окрепнет, раб обстоятельств и прихотей станет в духе свободным. Так она рада всем и щедра ко всем! Мало того, она усиливается как бы насильно (хотя без малейшего нарушения нашей свободы) привести нас к себе, к чему мы не пришли бы сами: вооружает для этого самого против нас беду, зло, болезнь, умягчающие человека, делающие природу его более чуткою и доступною к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и всedневном положении. И когда уже человек привлечен и пленен ею, и тут она еще не оставляет этих и других возбуждающих средств, чтобы человек не оставлял ее, чтобы, напротив, все более и более стремился к ней, видел всю свою потребность и крайнюю нужду в ней, познавал бы всю ничтожность и гибельность без нее, и все бесценное, высокое, истинное и благое для себя искал и находил бы в ней. А на дне души нашей столько таится, говорите вы, всякого мелкого ничтожного самолюбия, щекотливого честолюбия, что того и гляди забудет человек, что он ученик этой любви, поучающей его всем, и возмечтает о своем довольстве и совершенстве. Потому иногда крайне нужна и публичная оплеуха, и нанесший ее может быть избавителем нашим — орудием, которым без его ведома воздействовала Божия любовь. Сам же почувствовавший зовущую его милость небесную человек убеждается, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку. Самая борьба со всеми этими внешними враждебными силами и особенно со внутренними врагами, открывающимися более и более

для просветляемого духовного взора, уже становится для ратоборца — не труса поощрением и наградю. Он знает и чувствует, что всех нас озирает небесный Полководец и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора; он в своих подвигах предощущает рукоплескания на небесах. И всегда, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать, пред кем подвизаться. И между тем бежит от всего похожего на выражение признательности со стороны людской; для него уже не целы, недостойны становятся те его подвиги, за которые последовала ему какая-нибудь награда от мира; ему все хотелось бы сохранить для одного взора Божия.

<...> Это самые основные мысли, душа и дух вашей «Переписки с друзьями»! Из общего соображения этих ваших мыслей видно, что все они направлены к тому, чтобы, с одной стороны, все виды и стороны человеческого и земного освещались, исправлялись и благоустроялись истиною Христовою, а с другой — чтобы нам соблюдать и раскрывать истину Христову в истинном ее духе, в человеколюбивом духе самого Христа, сошедшего с неба на землю и на земле дошедшего до смерти для открытия во всем своей животворной любви, силы и премудрости.

Обратимся к вашим мыслям об истории человечества и России.

Каким же образом носилась таинственно над миром, двигала и управляла человечеством воссиявшая из смерти, животворящая любовь Божия во Христе, столь бесконечно снисходящая к нам, послушных столь чудно ведущая к себе из зла и смерти? Уже указал я вашу мысль, отвлеченную мною от разных частных ваших суждений, ту именно мысль, что Она действует всегда, судя по приемлемости и потребности каждого. Это общее Ее правило, так сказать! Оно имеет всю силу и по отношению к каждому человеку, и к каждому народу, и ко всему человечеству. <...>

Вы носите в душе память о прекрасном, райски светлом и чистом младенчестве человечества, — том младенчестве, от которого, как выражаетесь вы, небесное лобзание вечной весны изливается на душу (младенчестве, долженствующем быть неотъемлемою собственностью и на всяком степени возрастания и зрелости духовной, но утраченном, видимом людьми уже как бы в отдаленном сне и в преизобилии возвращаемом человечеству в Воскресении Христовом). Вам не нужно было более распространяться об этом небесном младенчестве, в котором люди были ангельски прекрасны, как непорочные дети нашего высочайше прекрасного Небесного Отца, и о котором, как об отчизне, тоскует постоянно человек,



о котором душа, при особенно возвышенных и вместе умиротворяющих своих движениях, как будто еще лепечет с ангелами...

<...>

Вы предлагаете христианскому поэту, певцу собственно сей милующей нас любви Божией (но об этом еще речь впереди) — разогнуть книгу Ветхого Завета и из книги этой набираться духа, нужного ему, именно: гнева против того, что губит человека; любви к бедной душе человека, которую губят со всех сторон, вы указываете поэту величественный, Самим Богом данный и начертанный первообраз в св. древних пророках, столько возлюбивших спасение богоизбранного своего народа. Одна и главная сторона мысли, сказанная выше мною, именно об особенном избрании известного древнего народа в любовь Божию, ясна! Остальная ее половина, именно воззрение на любовь Божию, носившуюся и над прочими, убежавшими и потому оставляемыми от нее языками, видна из того, что главное и высшее требование от того, кто желал бы понять и передать Гомера, по-вашему, есть то: «Нужно сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Тогда-то послышалось бы в переводе “Одиссеи” слово живо, и вся Россия приняла бы Гомера как родного... И простой христианский народ смекнет, почему та же верховная Сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то что он взывал к ней в нелепом образе Посейдонов, Кронионов и всей подобной вереницы». Это говорите вы, в то же время представляя «Одиссею» очевидным и для народа доказательством, в каких нелепых видах станет человек представлять Бога без Его откровения, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Теперь, конечно, и за другую сторону мысли вашей, раскрытой мною, спорить не будут. Я заговорился об этом, но бесценная мысль о несовершенном отвержении и язычников заветною Божиею любовию, избравшего Израиля, стоит того, чтобы упрочить ее за вашими воззрениями. Мы все это в своем месте еще припомним и эту мысль увидим в полном ее свете, если Бог даст.

Какую же приемлемость к небесной милости имело человечество в это время и как она, сообразно тому, осеняла его тогда?

Вы и в эти времена еще поражаетесь живыми следами свежести жизни и не притуплённой, младенческой ясности человека; разносится, говорите вы, в оставшем от этой древности памятнике

дух еще девственной стыдливости юношей, благостного безгневия старцев, уважения и почти благоговения к человеку как представителю образа Божия, и проч. — дух, не убитый даже у самых страстных из язычников. Поражаетесь вы величавою патриархальностью древнего быта, величавого потому, что на всем этом быте напечатлена мысль о верховном Существе даже у тех народов, которые представляли Его в самых нелепых образах. Всюду еще имело силу верование, что ни одна благая мысль не зарождается без верховной воли Высшего нас Существа и что ничего не можем мы сделать своими силами; так даже у самого вольного народа. И между тем средства у тогдашнего человечества так скудны и ничтожны! Быт так прост и несложен! С другой стороны, вы понимаете и непокорную, жестокую, не склонную к повиновению природу тогдашнего человека, умевшего в язычестве самую религию освятить месть, коварство, самые благородные свои порывы направлявшего почти исключительно к военным подвигам против обыкновенных чувственных врагов, и под. Указываете на это необузданное, омрачаемое игрою своих нечистых образов воображение, которое наплело у образованнейших народов древности такую вереницу богов и богинь. В самом избранном народе, в котором спасающая любовь Божественная заключила тогда свои сокровища, который был Ее храмом, Церковию, в самом этом народе вы поражаетесь всего более явлениями страшного суда Божия, поражавшего преступных огнями, излетающими от древних пророков, одушевленных Божественною ревностью против того, что губит человека. И притом непосредственные действия и суды Бога, милующего и в карах своих, в святых книгах сего народа являются так очевидны, наглядны, как бы чувственны, каковы, например, начертанные невидимо рукою буквы на пиру Валтасара. Более, кажется, не говорите вы об этих временах. Не говорите прямо и того, как изменился этот порядок дел Божеских и человеческих. Но некоторые Ваши образные выражения, собственно, о современных нам обстоятельствах в человечестве явно взяты с минувших времен, когда на место древнего порядка вещей открылся с христианством новый порядок. И потому можно из сих выражений заметить, что в ваших мыслях о настоящих временах предносилась у вас, как величественный первообраз, мысль о тех минувших временах. Следовательно, можно понять эту последнюю мысль. Выражения, о которых говорю, следующие: «Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе;

умирают в пустых выветрившихся толпах и воскресают с новою силою в избранных затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру». Понятия и некоторые даже слова взяты из Св. Писания, где говорится о воцарении благодати среди развалин ветхозаветного порядка вещей. И потому первообразная, лежащая в основе вашей речи, мысль ясна: те обычаи и обряды, на которых напечатлела себя милующая любовь, в которых дух ее еще не совсем убит был и у язычников, стали наконец мертвою буквою, формою без содержания. Человек и в избранном даже народе сделал их негодными в отношении к своей душе. И спасающая во Христе любовь Божия совершилась и открылась в самом живом существе своем и духе и чрез избранных своих пронеслась с своим светом и силою животворно по всему миру. Обо всем этом у вас говорится, видимо, недоконченно, более намеками. Сущность дела чувствуется вами, но далеко еще не тронута в своей полноте и глубине. Далее у вас будет все полнее и определеннее.

Итак, в последовательном ходе ваших мыслей мы дошли до того, когда уже в полном свете открылась эта духовная область спасающей во Христе любви Божией, это царство не от мира сего, апостольская, Вселенская Церковь, которая, будучи обладательницею животворящей любви, вся — жизнь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами снесена точно с самого неба, которая одна в силах разрешить все узлы недоумений человеческих, примирить все противоречия и привести все в стройность \*. В ней всесторонний взгляд на жизнь, всему настрой, всему направление, всему законная и верная дорога; в ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех верховных его силах, только бы все это вошло в ее область, предалось бы всецело Божественной любви послушанием и верою. Одним словом, в ней Божественная спасающая любовь со всеми своими Божественными сокровищами. Но не могло или не захотело и теперь человечество идти стройно и дружно по открытому царскому направлению.

Вот западная половина Вселенской Церкви (чрез допущения, конечно, папского главенства) более и более переставала духом своим внимать самому Христу и потому от Божественного и духовного,

---

\* Все это сказано у вас, собственно, о восточной Церкви, но она названа у вас единою, сохранившеюся от апостольских времен в своей целостности. Следовательно, я ваши же мысли здесь излагаю, говоря об апостольской Вселенской Церкви.

что составляет основание и душу Церкви, стала склоняться к мирскому и греховно-человеческому. Она стала заботливо хлопотать около людей, не проникнутая, не подвигнутая вполне любовью Христовой в сем случае, спешила всякими способами передавать им слова Господни, в хлопотах не взвешенные полным разумом. И незаметно увлеклась человеческими видами, мирскими целями и стала действовать по-мирскому. Правда, такую хлопотливую и быстрою деятельностью западная Церковь успела было овладеть чуть не всем миром, но сама впала в опасную односторонность, опустила из виду или перестала с должным и всецелым вниманием иметь в виду ту существенную и основную сторону Церкви, чтобы держаться собственно Господа своего, чтобы потому в целях и видах своих быть далеко не от мира сего, под условием чего только и можно дать должное направление и настрой всему в мире. Словом, она сузила взгляд свой на жизнь и мир до невозможности охватить их. Оттого хотя сначала еще мирила с своим католичеством мир, покоренный ею во Имя Христово, но мир с бессмертными, бесконечными потребностями духа человеческого, жизнь со всегдашним воплем о примирении всех ее нестроений не могли находить удовлетворения в своей западной Церкви... Церковь не могла не слышать ничем не заглушаемых требований человека и жизни и должна была волноваться с людьми, и меняться, и применяться ко всем обстоятельствам времени, духу, привычкам людей. Очевидно, этим она еще далее и далее шла от своего верховного начала и назначения во всем водиться и одушевляться любовью Небесною: она принимала множество постановлений чисто человеческих, сделанных епископами, не достигшими святостию жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, вносила нововведения, деланные прямо порочными предстоятелями... Мир и жизнь тем менее и менее, следовательно, могли находить в такой Церкви духовного удовлетворения себе. И отторгнутый или неутвержденный в самом начале в любви Христовой, устремляющей все в человеке в один согласный гимн Богу, западный человек мало-помалу стал сам в себе, в собственном только разуме и произволе искать удовлетворения себе. В этой-то внутренней борьбе западного человечества постепенно образовалась и развивалась западноевропейская честь и правда, которая, как уже греховно-человеческая, а не во Христе основанная, не имеет в себе должного величия, а в самых возвышенных, по-видимому, своих порывах включает много пустого, донкихотского. И с такою правдою и честью, уже вполне развитою, западноевропейский человек

мечтал бы все человечество обнять братской любовью — и не дрогнет сказать о своем страждущем тяжкими душевными недугами брате: «Я не могу обнять этого человека (так скажет европейский человек даже в самый светлый праздник спасающей погибших людей Любви) — он мерзок, он подл душою», не дрогнет за малейшее оскорбление поставить своего собрата на благородное расстояние и посадить пулю ему в лоб...<sup>2</sup> В той же внутренней тяжелой борьбе западного человечества открылось и развивалось и западноевропейское просвещение, блистательно широкое, потому что нужно было ему ответить на все духовные неудовлетворенные потребности, но (греховно)-человеческое, не проникнутое в своей общности истинным светом Христовым, не достигающее потому истинно живых, глубоких и удовлетворительных результатов, напыщенное, впрочем, самонадеянностью и самоуверенностью, которая не позволяет смиренно внять стороннему внушению, потому еще более ограничивает и суживает взгляд на вещи в мерку личной односторонности и еще более закрывает глаза для света истины.

Такое европейское развитие, начатое, правда, в христианстве, только тронутым в своем основании, и потому одностороннее, фальшивое, не проникнутое истинною жизнью развитие, тем паче не может удовлетворить живым и бесконечным потребностям духа. Внутренние тяжкие противоречия и страдания в западном человечестве были неизбежны. Западная Церковь, с своею развившеюся односторонностью, чем больше хлопотала бы о примирении человека со Христом и о разрешении в Нем всех вопросов, тем более вносила бы раздора, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех сторон, и тем далее отталкивает человечество от Христа и от себя самой. И чем более и усиленнее напрягался бы, с другой стороны, сам европейский человек удовлетворить всему, сам в собственном сокрушенном кладенце открыть живой источник — тем менее, на самом деле, он может удовлетворить и успокоить свой дух своими измышлениями, тем менее может привнести жизнь в стройность своими проектами; потому-то тем отчужденнее он становится от Христа, в любви Которого и в преданности Которому только и можно найти все потребное.

Гражданский быт, полагающий в основание свое (греховно)-человеческую, а не Божественную правду, сам находится во внутренних противоречиях; власти и подчиненные им только думают каждые о своих правах и интересах и недоверчиво, враждебно

смотрят друг на друга; сословия находятся во взаимной ненависти; всюду озлобленные партии.

И вот уже раздаются вопли страданий всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется бедный, как в страшной горячке, не зная сам, как и чем себе помочь; всякое прикосновение жестко разболевшимся его ранам, всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Хотя в то же время есть люди, которые, вооружаясь взглядом современной близорукости, мечтают постигнуть тайну истории человечества без Бога и Христа, мечтают поправить в мире дела. Западное развитие таким образом уже доходит до своих последних результатов, уже созрело для полного раскрытия своей односторонности и фальшивости; западное человечество такой металл, который уже отлился в свои формы и готов застыть. Воплем своих страданий, однако, еще зовет оно к себе милующую небесную любовь, и она носится над ним.

На восточной половине христианства другое зрелище. Здесь Церковь, как целомудренная дева, сохранилась от времен апостольских в непорочной, первоначальной чистоте своей. Она не принимала в Себя никаких новостей, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами Церкви. Она, при неблагоприятных ли обстоятельствах со стороны мира или не развлекаемая его шумом, не принимала участия в его ходе, направленном к расточению ее же сокровищ и как бы умерла для мира. Подобно скромной Марии, отложивши все попечения о земле, поместилась она у ног Самого Господа, чтобы лучше послушаться слов Его. И не-развлекаемо внимала Ему, исполнялась Его жизни, хотя сестра ее — Церковь западная, хлопотавшая с людьми подобно Марфе, уже было осмелилась называть ее мертвым трупом и даже заблудшею и отступившею от Господа. Эта свобода восточной Церкви от увлечений мирских выразилась уже и в том, что представители ее, хранители и раздаватели ее сокровищ — духовенство — и доселе находятся в некотором отдалении от мира и света, хотя притом стоят во внутренней связи и соприкосновении с Ним, особенно в проповеди и исповеди. В противоположность римско-католическим духовным, которые оттого и потеряли должное свое значение и достоинство, что сделались слишком светскими, как Церковь их слишком мирскою, здесь духовные не толкаются среди Света. Опять в противоположность западной Церкви представители восточной даже самой одеждой

отделились от прочего мира и остались доселе неподвластны изменениям и прихотям мирским, даже во внешнем виде своем носят вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять собою. Вопреки проповедникам католичества западного, исторгающим скоро высыхающие слезы искусственным или напряженным красноречием рыданий и слов, проповедник православный имеет долгом сказать слово, хотя бы простое и просто, спокойно, но от души, живущей изрекаемыми Божественными истинами, так, чтобы при своем проповедании и он сам, а от того и слушатели его слышали присутствие Самого Бога. И на задорные крики со стороны западной Церкви восточная блюстительница и владетельница живых сокровищ Божественной всеобъемлющей любви и милости отвечает величавым спокойствием. Будучи вся жизнь, она не иначе желает и возвестить свою истину, как благоуханием душ и жизни своих детей.

Эта Церковь распространилась и утвердилась в России, пространство которой — с ее странами далекими, с равнинами широкими, с реками великими, с высокими горами, с осмью морями — уже обещает такой великий простор, такое широкое поприще для дел. В самой духовной природе русского человека заключалось много близкого закону Христову: эта чуткая душа, в движениях и звуках которой уже мало видно привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к чему-то безграничному, тоска по лучшей отчизне, этот русский ум, умеющий сделать великие выводы и из бедного времени, эта отвага рвануться на дела добра, которая у нас дает вдруг молодость старцу и юноше и сливает в одно чувство всю разнородную массу, эти видные и доселе в нетронутой русской натуре следы патриархальной величавой простоты, это побратание людей, всегда бывшее у нас роднее кровного родства... И потому не как в Западной Европе, без меча пришел к нам Христос; приготовленная земля сердец наших призывала сама Его слово. По всему видно, что Церковь с Неба снесена как бы прямо для русского народа и что, с другой стороны, все нужное для жизни истинно русской во всех ее отношениях заключено в этой Церкви. Только бы всем дружно, и согласно, и бодро следовать ее настрою... Что же, однако, было на деле? Церковь в своих избранных жила всею возможною на земле полнотою и красотой своей неземной жизни, так как у нас явились мужи, достойно ставшие в ряд св. отцов Церкви (у вас указан св. Димитрий Ростовский). Она разливала свою жизнь благодатную по всему организму на-

рода, и в ней постоянно слышалось слово церковных пастырей, слово простое, некрасноречивое, но замечательное по стремлению стать на высоту христианского бесстрастия, направить человека не к увлечениям сердечным, но к стройной и трезвой деятельности для Бога всех духовных его сил. И русский человек, чувствуя бесценность врученного ему сокровища, трепетал за него, имел в виду, как бы только сохранить его, и впал в односторонность своего рода; в его душу вкралась мысль, что с сохранением небесного сокровища и все дело свое он сделает, и он опустил из виду, что должно употреблять это сокровище, пользоваться им, данные таланты приращать своими трудами. Он стал засыпать духовно. Так я понимаю вашу довольно глухо сказанную мысль: «Стала дремать наша масса». И как было она задремала! Какой, наконец, бесчувственный застой произошел и на всем пространстве отчасти и в особенности — в отдаленных углах и захолустьях России!

Вы указали некоторые степени огрубления народного, постепенно образовавшегося в те поры и открываемого впоследствии нашими поэтами. Русская, сильная любовь матери к своему детищу сопровождалась зверством ко всему, что не было этим детищем. Русское сочувствие обращалось в какое-то сердечное влечение, совсем бессловесное. А слабосильные и забытые обстоятельствами люди были полным притуплением всего. Эти виды бесчувственного застоя дают уже понять, как задремала, как глубоко готова была наконец заснуть наша масса в те поры, хотя этими же столь низкими степенями огрубления предполагаются бесчисленные степени выше и выше до явления, наконец, живых и прекрасных членов нашего народного организма.

Да, были эти живые и прекрасные члены в составе народа, иначе в чем бы и была Церковь, в чем бы держалась она, будучи жизнью? И вся масса, даже до последних огрубелых своих оконечностей, двигалась и одушевлялась, как душою, чистыми или православными христианскими началами. И уже в последнее время духовной дремоты русского человека была минута, когда жизнь духовная явилась во всем организме народа со всею свежестью и красою, возбужденная, правда, чрезвычайными обстоятельствами. Это была для русского человека крайность и грозящая гибель — остаться без того, кто был для русского представителем и образом водворившейся в России спасающей, небесной любви, при посредстве которого она и водворилась в России, — остаться без законного верховного властелина. Прекрасно схвачена у вас



эта минута возбужденной вдруг христианско-русской жизни: последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя. Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока!<sup>3</sup> Тут же стояли рядом древнейшие родом и притом мужи доблести. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против. Никто не смел предъявлять прав своих! И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить и оспаривать и набирать шайки приверженцев. И кого же выбрали! Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавно ужас ходил по всей земле! И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положили, чтобы он был на престоле. Да, и не поэты даже могут слышать здесь волю Господа, непосредственно действовавшую в духе помилованного Им народа. Но опасность миновалась, и русский возвратился к своей дремоте, от которой на минуту со всею бодростью восстал как бы только для того, чтобы узнать и показать, какая сильная, великая дана ему жизнь, как бы только для пробы этой жизни и приготовления к какому-то делу, достойному ее.

Явился царь-преобразователь, которому воля Бога вложила мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Нужно было пробудить русского человека, чтобы он с помощью европейского света рассмотрел поглубже самого себя и свои внутренние сокровища. И как чудно, как величественно произведен такой крутой поворот, такое богатырское потрясение! Сам царь великодушно отказался на время от царского величия своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем изменении государственных форм. И переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровию потрясенное государство, если производится борениями внутренних партий, был произведен в виду всей Европы в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученных войск.

Итак, нужно было огрубевший от бездействия русский дух, владевший сокровищем, которому цены нет, выполлировать и прочистить ему очи европейским образованием, чтобы ему блеснуло

всем светом его же собственное внутреннее сокровище и он возбудился бы все из этого сокровища до последнего динария употребить в дело. И Божественная любовь чрез своего избранного, чрез свое орудие и представителя на земле вдруг дала западному просвещению, уже приближающемуся к своей зрелости, проторгнуться в Россию со всех сторон и совершила этот чрезвычайный переворот в возлюбленном народе стройно и величественно, что Ей единой и возможно. Проторглось европейское просвещение в Россию, но вдруг ли Россия могла совершенно освоиться с ним и тем самым глубже войти в себя? Постепенное совершение этого и представляет новая история России. Вы чудесно умели уследить такую постепенность, в одной, впрочем, только области, отражающей в себе словом народную жизнь. Сначала, говорите вы, у нас «все только услышало, что он пробудился. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумления, который издает дикарь при виде навезенных сокровищ». Этот восторг уже был прекрасное явление жизни именно русско-христианского духа, который был возбужден к великому делу и сразу же почувствовал у себя огромные средства, не умея еще дать в том отчета. Этот восторг был что-то близкое к библейскому, то высшее состояние духа, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости, как вы оригинально выражаетесь. Русский человек всю русскую землю озирал от края до края с какой-то светлой вершины, любуясь и не налюбуюсь ее беспредельною и девственною природою. Он восхищался от света, принесенного в Россию, но потому, что при этом свете видел или чуял великое поприще, ей предстоящее, и торжественно благодарил царей, того виновников. Отселе чем более мы осваивались с европейским просвещением, тем глубже при этом свете избранные из нас на всех поприщах \* входили в себя, в наш христиански-русский дух и раскрывали его богатства. Они своей высшей от нас по дарованиям духовной натурой показали каждый которое-нибудь из наших народных качеств, дав им развиться в себе и блеснуть пред нами во всей их красе. Один, например, поражает нас величавыми и крепкими чертами русского

---

\* А не в одной поэзии. Это вы даете понимать, когда, например, при воспоминании о Карамзине говорите: «Все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такой любовью, с какой может выслушать только одна чудная наша Россия».

человека, утвержденного на непоколебимом камне Церкви; другой восхищает русскою чуткостью и восприимлемостью, с какою, на что только в мире ни взглянул бы он, чувствует величие и красоту этой вещи как создания Божия, как дела Его Любви; третий отразит в себе тот верный такт русского ума, который, умея схватить существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выражением и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже не сходных с ним людей, который упрочивает за человеком уважение и доверие всех и проч. и проч. С другой стороны, избранные натуры, которые, быв подвигнуты образованием, почувляли и выражали движения и черты православно-русского духа, по тому же самому глубоко прозревали и в бесчувственный застой, образовавшийся в нашей массе от бездействия, обличали, поражали его, усиливались сокрушить или смягчить его. Все это делалось в избранных только и могучих натурах, которые, при наплыве отовсюду европейского просвещения, не тронулись во внутреннейших своих глубинах с оснований русского духа, хранили в себе целым небесное сокровище, держались духом в заметной или незаметной внутренней связи с Любовию светворящею и оживляющею. Таких натур не много, они избранные, хотя бывают и на всех поприщах жизни. Нужно же было на чем европейскому просвещению в массе нашей держаться и все более и более усваиваться России. Сим самым и было (да и что иное могло быть?) наше общество, эта верхушка, как вы называете, или верхний слой нашей народной массы. И вот наше общество от петровского времени начало воспитываться, говорите вы, под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянием выходцев из всех европейских стран, из всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Кроме тех избранных, о которых уже мы говорили (а может быть, и вместе с ними в известных отношениях), все, кого касалось и пробуждало европейское просвещение, столь развившееся, столько вопросов задающее и столько предлагающее всяких ответов на каждый из них, подумало, что в нем-то, в этом одностороннем просвещении, и сущность дела, начало и конец всего, доселе недостававшего нам. И в таком случае то сокровище, которому цены нет, обществом более и более пренебрегалось и оставлялось без внимания. Общество наше, чего не случалось еще ни с одним народом, воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже и язык был позабыт так, что русскому голосу все тех же наших передовых людей были отрезаны

дороги и пути, чтобы коснуться уха в нашем обществе. Тем скорее и полнее усваивалось нами европейское просвещение со всеми результатами своими, со всеми запросами, не находящими, однако, истинного, удовлетворительного и успокоительного разрешения, тем успешнее и полнее примечали и собирали наши передовые люди разные высокие черты нашего духа. Это была тоже великая внутренняя борьба; тяжелая борьба была — эта встреча западного просвещения, столько уже противоборного истинному свету, с нашим светоносным сокровищем. И избранные у нас люди забирали лучшее отовсюду, где находили, и спешили выносить его на свет, где и как поставить — точно так, как бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. И такая борьба была во всех и каждом, в ком была такая встреча православного, глубоко затаенного света и блестящего европейского просвещения, хотя еще дело вполне не уяснялось ни для кого. Во всяком была более или менее бестолковая встреча чужеземного с своим и неразумное извлечение того вывода, для которого повелена Богом эта встреча.

Из вашей «Переписки» можно было бы проследить в главных степенях весь ход всей этой истории нашей новой России. Но если бы вздумал я все выставить на вид, что есть в вашей довольно и необширной книжке, мне никогда бы с вами не покончить; а еще немало мне нужно говорить, и черпая из вашей книги, и осматривая ее со всех сторон... Впереди что Бог даст! Возьму у вас очертание одного последнего момента всей этой новой русской жизни. В это новое время много, много уже совершено нашими избранными представителями, передовыми всей нашей массы. Они обозначили и собрали бесчисленные оттенки разнообразных качеств нашего православно-русского духа; они раскрыли и совокупили как бы в одно казнохранилище разные отдельно, впрочем, пока взятые, стороны нашей разносторонней природы. Мало того, вы фактически доказали, что прекрасное новое здание мысли и жизни православно-народной уже зиждется у нас, только покамест не для всех видимо. Между тем, хотя уже полтора года лет протекло с тех пор как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела и правительство, приемное Петру, во все время действовало без устали по его направлению — и до сих пор, однако, остаются так же пустынно, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас,

точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родною нашею крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге и дышать нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовою станцією, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель, с черствым ответом: нет лошадей!.. С другой стороны, просвещенный европейский XIX век уже освоен нашим обществом чуть ли не со всеми своими результатами, всеми запросами, понадлежащему не разрешенными, с возбужденными бесконечными потребностями, но мнимо удовлетворенными; век, блестящий, по-видимому, человеколюбием, но напыщенный бесчеловечною гордостью, дошедшею до страшного духовного развития, убившею в нашем духе много живого, свежего и даже имеющего только какой-нибудь вид жизни и свежести; век, со всем своим гордым умом не боящийся преступать постоянно первейшие и святейшие законы Христа и трепещущий преступить малейшего приказа моды, им же понимаемой в своей ничтожности, дрожащий пред нею, как робкий мальчишка... И как русский человек не любит держаться отвлеченных идей, а обращает их в дело, в жизнь, то по правилам европейского просвещения, с таким его духом составляются проекты близорукими умниками, имеющими притом немалые способности, европейские человеколюбцы стремятся пустить европейские идеи в самый народ, елико то возможно... И по всему этому, по всем этим успехам у нас западного просвещения, столько не удовлетворяющего и не благоустрояющего самого Запада, в нашем обществе, так же, как и повсюду в Западной Европе, таинственную волю провидения отдаются хотя слабые и глухие отголоски болезненного ропота неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете, на порядок вещей, на время, на себя самого; всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвела нас наша новейшая гражданственность и просвещение; слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, что он есть; раздались громкие споры и крики против западного и европейского, а с другой стороны, явились и жаркие поборники европейского просвещения, мечтающие в нем найти настрой всему родному и готовые стереть с лица нашей земли всю восточно-русскую старину. Но при всем том самое недовольство каждого настоящим состоянием своим, самая жажда лучшего, особенно самое крайнее отвращение русского от всего ничтожного и гадкого,

приставшего к нему (оказавшееся, например, при яркой картине этих ничтожностей в «Мертвых душах»), еще ручается, что мы еще не застывший и охолодевший в своем состоянии металл, что в русском есть еще, часто неведомое ему, все то, что противоположно ничтожному...

Так западное просвещение всею полнотою своею уже осваивается с нами и касается до самого седалища в нас Божественной любви, проникает в самые внутренние глубины православно-русского духа. И по закону развития нашей новой жизни, который милость небесная предначертала нам со времен Петра, — это есть тот момент, за которым, если только мы поймем и примем благую волю Божию о нас, и нас не оставит до конца милость Божия \*, сейчас же, возбужденный уже во всех силах, восстанет и возьмется за великое дело наш православный русский дух, когда размягченная и растопленная, как металл, находящаяся в сильном брожении наша природа примет законную свою форму, вполне оборганизуется... Западники и восточники примирятся, что они — те и другие — видели только разные стороны одного и того же здания. Все нерешенные, великие запросы западного просвещения найдут живой и твердый ответ, все узлы недоумений и противоречий внутренних и повсюдных будут один за другим разрешаться. Оживет в избранных все из нашей старины до последнего зерна, все, что есть в ней русского и освящено Христом. Полный и всесторонний взгляд на жизнь и мир, блюдомый во всей своей чистоте Церковию восточною, падет на все и все осветит. И выступит многими дотоле забытая и не знаемая даже в родной земле, всеми верующими и неверующими теперь признанная наша Церковь, с настроем и направлением всему, с законным простором в ней всем духовным силам человека и устремлением всех их в один согласный гимн Верховному Существо. И воспряднует светло Христово воскресение прежде у нас, нежели во всякой другой земле...

<...>

Повторяя зараз или подводя к общему итогу все эти ваши мысли о прежнем и отчасти нынешнем времени, вижу, что духовную беду новейшего времени человека, и особенно русского, вы указываете с двух сторон: с одной стороны, развивается у нас донельзя человеческая мысль, правда, честь по-западноевропейски, без возведения к живому духу и истине Богочеловека, Спасителя всего

---

\* У вас это условие везде слышится.

человеческого; с другой стороны, истина самого Христа, содержащаяся во всей чистоте в восточном православии, соблюдается нами как-то бездейственно, без деятельного всестороннего приложения ко всем областям человеческой жизни. В силу преобразования петровского православным русским волею и неволею пришлось сближаться со всем западным односторонним развитием человеческой мысли, правды и чести. В этом ясна для вас мысль Бога, промыслителя нашего, чтобы нам, православно-русским, в силу самого православия или по безмерно-человеколюбивому духу Христовой истины войти с ее светом во все дальнейшее человеческое, чтобы чрез это и самим выйти из овладевшего многими бездейственного сна и для всего мира раскрыть вселенское значение православия. Но пока не дойдет у нас дело до общего отчетливого сознания этой промыслительной о нас воли Божией, неминуемо происходит у нас вот что: или со всем жаром бросимся в широкое западное развитие человеческого, но без усвоения или без достаточного и прочного усвоения истины Христовой, или станем неколебимо держаться нашего родного, православно-русского, но без заботливого внимания к человеческому или даже только с осуждением сего человеческого, вопреки человеколюбивому духу православия. В том и другом случае неустойчивость пред нещадным ко лжи огнем истины\*.

И вот вы видите, что, начиная с петровского преобразования, у нас то и дело бывает все равно то же, что на пожаре; только бы дал Бог выхватить и спасти наилучшее в хозяйстве. Плачете вы, что часто у нас и ревнители православия, или так называемые у вас восточники, сами же первые не входят в дух и силу православия, в мысли и расположения Господней любви, осуществившей и в земном мироздании и не престающей осуществлять в мироправлении на земле мысль и волю небесного Отца, спасающей погибшее, всесозидающей испорченное и разрушенное, милующей и прощающей человека-грешника. Умоляете вы их хоть так, для пробы, отступить от этой не совместной с истинным вселенским православием Востока односторонности; потому что знаете, что с закрытием снисхождения Божией истины к человеческой мысли и правде поклонники последних, эти так названные у вас западники, не могут усмотреть чудного, со всех сторон светлого здания истины Божией, какова

---

\* В этом отношении примечательна недавняя статья в «Современнике» о Державине: взятое с одной стороны, все дело Державина представлено жалкою жертвою духовного пожара.

православная Вселенская Церковь. Посмотрю, где вы ищете помощи такому горю многих.

Ища в нашем быте средств ко спасению, озираясь, чем бы возбудить внимание к нашему же бесценному сокровищу и подвигнуть нас к тому, чтобы, забытая многими в истинном своем духе и достоинстве, Церковь все в нас просветила и благоустроила, возводите, во-первых, какой-то благоговейный и умоляющий взор к царю, этому богоизбранному вождю нашей народной жизни от самого начала народа, этому земному представителю величия и Любви небесной для русского духа, к тому, на рамена которого страшно обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшную ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности, не понятным даже для стоящего внизу человека, кто среди самых развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клич Божий, неумолкаемо к нему вопиющий. Самая природа русская и все страницы нашей истории, говорите вы (и то довольно доказали, как мы и видели выше), слишком ясно говорит о воле промысла, да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде; все события в нашем Отечестве, (особенно) начиная от порабощения татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве. Чтобы потом, когда уже загорится каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, со светильником в руке устремить как одну душу весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Значение государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выражению. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую Богоподобную любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов... Эти крики усилятся, наконец, до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какой еще никогда не загорался. Все полюбивши в своем государстве,



до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновение будет не жестко его ранам, который один только может внести примирение во все сословия и обратит в стройный организм государство. Там только исцелится вполне народ, где постигает и осуществляется в монархе высшее значение быть образом Того на земле, Который Сам есть *Любовь*.

С этой горней, хотя и на земле, высоты наш взор обращается к семейному и ежедневному нашему быту и по отношению в особенности к высшему обществу, останавливается с любовью и надеждою особенно на *женщине*, бессильном, всегда подвластном существе. Вы знаете, что душа жены — хранитель, талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы, что она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и, наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Равным образом вы знаете, что женская натура скорее мужской может быть подвигнута почувствовать все прекрасное величие своих обязанностей, которые, как и вообще обязанности, несравненно прекраснее и возвышеннее всяких мечтаний; вы знаете, что избранная женская натура, даже при рассеянности и слабости характера, может вымолить себе у Бога внутренней собранности и крепости. И если в самом деле в душу этой избранницы падет луч небесный, если она для выполнения требований Того, Кто создал человека, сумеет великодушно простить не злонамеренного, но и не совсем дальновидного человека, который публично сравнил бы ее с какой-нибудь «коробочкою» (в ваших «Мертвых душах» \*), и не возмутится бесстыдством зубоскала, который хотел бы осмеять ее пред всеми прозванием «женщины о семи кучках», не помышляя того, что он не над человеком ругается, — словом, если она твердо и не колеблясь ничем пойдет по своему прекрасному, однажды избранному пути, то будет, она точно самой деятельной помощницей мужу на всяком поприще, будет знать, как ободрить его при встрече по службе со всякою неприятностью или губительным обольщением, как заставить его перенести терпеливо то, на что не стало бы у него силы. Готовая лучше

---

\* В современных журналах были эти насмешки.

носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, нежели допустить мужа своего сделать несправедливость и подлость, она будет истинным его возбудителем на все прекрасное, любовь нежную, не знающую, чем бы не пожертвовала и чего бы не решилась сделать для счастья мужа, любовь, всегда проникнутою тою мыслию, что муж ее глава, а она его помощница, сама же жена повелит своему даже слабохарактерному, готовому недостойным образом покориться ей мужу, дабы он был ее достойным главою, твердым мужем в своих обязанностях. И по отношению к обществу, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения, вы многого ждете от женщины; чтобы произвести это оживотворение, говорите вы, необходимо содействие женщины. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиною переворотов всемирных и заставлял делать глупости наименьших людей, что же было бы тогда, заключаете вы, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Но не какая-нибудь нынешняя львица, не женщина нынешнего света, утратившая женскую прелесть и красоту душевную, ни даже женщина действительно умная, все испытавшая с своею гордою самоуверенностью, не они могут иметь благотворное влияние на общество. Пусть будет женщина, хотя и слишком молодая, не приобретающая ни познания людей, ни познания жизни, но только не обделенная красотою, с неопозоренным, неоклеветанным именем и, главное, с властью чистой души. И такая-то слабая неопытная женщина будет очень сильна к оживлению и освежению общества, в котором ей судьбою суждено быть, если только в душу ее западет благодатное беспокойство о людях, всегда внутренне болеющих и особенно в наше время страшных болезней ума, если она среди самых развлекательных увеселений носит в сердце ангельскую тоску о людях, всегда душевно нуждающихся и без слов вопиющих о помощи. Тогда даже от одного своего присутствия, неведомо самой себе, она имеет такое влияние, что и развратные из молодежи не отваживаются сказать при ней не только двусмысленного слова, но и просто никакого слова, чувствуя, что все пред ней будет как-то грубо и неприлично, что при ней не утратившие совсем чувства красоты и особенно душевной не позволят себе и дурной мысли. Если она заговорит в сопровождении того чистого взора и улыбки, в которой так и светится голубиная ее душа, заговорит

просто, свободно, как бы в кругу домашних и близких ей людей, то каждому покажется, как будто бы заговорила какая-то небесная родная сестра. Недаром определено, говорите вы, чтобы всех равно поражала красота — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. А от жалких соблазнов света такая женщина безопасна своим чистым и скромным стремлением к добру, христианскую жаждою добра себе и другим.

С сердечною заботливостью и некоторым даже уважением вы останавливаетесь мыслию и на нашем простом народе, в котором, с одной стороны, несравненно целее, нежели в обществе высшем, блюдятся сокровища нашего православного русского духа, и эти прекрасные свойства, составляющие отличие русского народа от других, и эти возвышенные христианские понятия о правде и душе в виде непреложных верований, разнесшихся всюду, но, с другой стороны, заметнее, нежели в высших классах и мертвый застой жизни с высокими народными свойствами.

Есть кое-что из доброй русской жизни, что прежде было действительно живо и сильно в народе (например, патриархальное отношение народа к помещикам) и что теперь до того потеряло жизнь свою и ослабело, что некоторые, правда, близорукие, признают то утраченным навеки. Для того чтобы все православно-русское было живо в народе и все ослабевшее укрепилось, нужно все прежде соблюдаемое народом, наиболее по доброму русскому чувству, оживить и утвердить прямо и отчетливо во Христе. И в этом деле может много послужить государю и отечеству помещик или вообще образованный начальник простого народа. Только в сем случае следует ему искренно взглянуть на свою обязанность глазом христианским. Следует ему убедить из слова Божия и себя самого, во-первых, и потом своих крестьян, что он помещик или начальник над ними не потому, чтобы ему хотелось повелевать и быть начальником, но потому, что взыщет с него Бог, если бы он променял это звание на другое; потому что всякий должен служить Богу на своем месте, а не на чужом; равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться этой власти; потому что нет власти, которая не была бы от Бога. И за дело помещика пусть он примется не по каким-нибудь затеям, с нововведениями, а просто, по-русски. Должно растолковать мужикам, от всей души, всю правду: что душа человека дороже всего на свете, что с него — помещика взыщет Бог за последнего негодя в селе и что по этому самому он будет еще более смотреть за тем, чтобы они работали честно не только

ему, но и себе самим... И все, что ни скажет, должен подкрепить тут же словами Св. Писания, в которое, слава Богу, всею душою верит наш народ; показать им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставить каждого пред тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, нужно, чтобы мужики видели ясно, что помещик во всем, что до них клонится, сообразуется с волею Божию, а не с своими измышленными затеями. Равным образом мужика нечего забивать разными нравственными и хозяйственными и другими затеями из пустых книжонок, издаваемых европейскими человеколюбцами. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. По-настоящему народу и не следует знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме священных, которые он так любит.

Само собою разумеется, что помещик не одними своими возгласами и не один должен действовать. Он должен сам деятельным образом заняться всего более судом и расправою над своими крестьянами. И здесь пусть он сначала совершает суд человеческий, по которому оправдался бы правый и осужден был бы виноватый. И правда правого и вина виноватого должны быть ясны как день для всех мужиков. Другой суд помещик должен совершить Божеский, то есть показать правому, не был ли сам он так или иначе виною тому, что другой его обидел, а виноватому — не вдвойне ли он виноват пред Богом и людьми: первого укорить, что он не простил брата, как повелел ему Христос, а другого попрекнуть, зачем он обидел Христа в лице своего брата. Вообще же во всех упреках и выговорах, в разборе тяжбы, ставить мужиков пред лицом Бога, а не пред своим лицом: *суд Божий*. Виноватого не одного он должен упрекать, но пусть призовет и его бабу, его семью, соберет соседей, попрекнет бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божиим; попрекнет соседей, зачем допустили, что их же брат, среди них же, зажил собакою и губит ни про что свою душу, докажет им, что дадут все за то ответ Богу. Нужно устроить так, чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Нужно собрать силу влияния, а с нею и ответственность негодяев на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Нужно и самому, и чрез священника растолковать им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо, жить, но чтобы и других учить хорошему житью, что пьяница

не может учить пьяницу, что это их доля. Негодяям же и пьяницам пусть строжайше повелит оказывать добрым мужикам такое же уважение, как бы старосте, попу или самому помещику. Во всех таких случаях нужно стараться пронять мужика не столько руками и палками, сколько словом метким, нужно ругнуть негодяя при всем народе так, чтобы тут же осмеял его весь народ: это будет в несколько раз полезнее всяких подзатыльников и зуботычек, от которых мужик, привыкнув к ним, только почешет в затылке. Хорошо держать у себя в запасе все синонимы «молодца» для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы «бабы» для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Что касается хозяйства, не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшение. А главное, пусть помещик по возможности будет сам начинателем всего и передовым во всех делах крестьянских, почаще является на крестьянские работы и появляется так, чтобы все от его прихода глядело веселее и живее, изворачиваясь молодец в работе. Здесь-то, где и прилежный и лентяй видны сами собою, так кстати употреблять меткие слова. Начало и конец работ пусть ознаменовываются праздником, молебном, общим обедом помещика с крестьянами, как патриарха с домочадцами.

Только бы добрая воля у помещика поступать так и постоянство, особенно в начале дела; очевидно, что простой человек именно в своем простом быте будет и достоин всего уважения и счастлив, все православно-русское оживет у него и для него; связи с помещиками окрепнут и соделаются связями в Самом Христе; с добрым нравом благосостояние, особенно в простом народе, неразрывно; сам помещик, позаботясь более всего о главном и существенном, об истинной душевной пользе своих крестьян, увидит, что выгоды их идут не врозь с его выгодами, разбогатеет, наконец, как Крез, и даже чужие крестьяне будут приходить в своих тяжбах к его прекрасной расправе; и представив своих крестьян примером для окружающих, он служит государю в звании помещика такую службу, какой не сослужит иной великочиновный человек. Между тем, все было бы для него так просто, без новостей, без затей, все бы только по православному, русскому обычаю и духу!..

Вот ваша система мыслей о жизни, о мире, о России. Не упомянуты разве немногие ваши мысли, уже вытекающие прямо или хорошо объясняемые из сказанного. Таковы, например, мысли:

безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословения. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, пока не окрестит их она светом Христовым. И так же понятен этот ваш трепет, чтобы западное просвещение с своими разрушительными вопросами и противоречиями в самом деле как бы не коснулось девственной природы нашего простого народа, который не сумел бы оборониться против его влияния и незаметно, бессознательно уже набрался бы его духа, прежде чем сознал бы, чего он чрез это лишился. «Учить мужика грамоте, — говорите вы, — учить именно затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор». Кто ж любящий истинное благо народа с этим не согласится? И, однако, эти самые слова ваши, направленные против народной грамотности, именно в духе неправославно-западном перетолковывали так, будто идете вы вообще против обучения народа грамоте. Нет! По всему, что сказано вами об истине Божией и мудрости истинной, для меня как день ясно, что только бы наша общественная мысль, наша литература созрела до того, чтобы то простое житейское, в кругу которого обращается и трудится народ, и выяснять, и утверждать, и усовершенствовать по началам и в духе Христовой истины и благодати — тогда бы вы явились первым и самым пламенным ревнителем народного, столь возможно разностороннего образования. <...> Но обратимся к вашим мыслям об искусстве.

Поэт, живописец или вообще художник — эти творческие натуры потому и таковы, что они уже так сотворены и родились, что несравненно глубже и живее других могут слышать и возвещать всезидущую и управляющую всем любовь, о которой уже имел я дерзновение говорить доселе вашими словами. Потому если поэт, вняв такому, уже природному призванию своему от Бога, последует ему твердо и верно, то пусть он будет в отношении к нам иноземец, иноверец, даже язычник — он скажет такое слово, которое будет слушать как слово живое и православный христианский народ, которое вполне уразуметь и передать никто не сможет, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. <...> Потому и дело художника творить, живо воспроизводить словом или кистью, или чем иным дела Того, Кто все создал и животворит своею любовью. Иначе и всякий художник произведет не художественное творение, но жалкую и смешную карикатуру на себя самого,

напишет мертвую академическую картину, хотя бы предмет ее был духовное обращение людей к Самому Спасителю, к Самой Любви воплотившейся, и о святейшем предмете скажет слово гнилое. Это такое условие, без которого художник не выполнит главного, составляющего задачу всего произведения, — это основание творчества!

Если художник, разумеется, с должным приготовлением и образованием своего дара, загорится и проникнется небесною искрою творческой силы, условливающей взятый им предмет, то есть если душою, хотя и безотчетно иногда, прикоснется к Всеzijdущей Любви и в глубине своей души примет не в отвлечении, а в самой жизни и силе животворящую ее мысль об известном предмете, то в предпринятом им художественном труде, будет ли то картина явления Спасителя в мире при Иордане или поэма, в которой поэт был бы подвигнут изобразить милость неба к его родному народу со всеми страждущими и почти мертвыми членами его организма, все в таком великом предмете, от человека до бездушной вещи, вперит в него глаза свои, даст ему почувствовать свои требования и ожидания от него. Все он изучит, усвоит, осветит своею творческою мыслью; и все в его произведении, от выражения действующих лиц даже до наброски на них одежд, до камешка последнего, до древесного листка около них, вся даже материальная часть будет исполнена в совершенстве, проникнутая и оживленная высокой идеей предмета. И творение его будет прекрасное гармоническое целое, величавое и простое, в котором не будет ни малейшей соринки, даже наружного неблагоприличия; каждое слово и выражение будет поставлено в надлежащем месте; вся группа, во всех мелочах даже, умно и отчетливо расположится, все будет прекрасно и само по себе и недаром, не без цели в отношении к целому. Да, это будет живой, светлый, хотя и бесконечно малый и ничтожный сравнительно образ созданий Того, Кто все в своем творении объемлет своею творческою и промыслительною любовью, Кто ведет чуждение от небесной Любви... Видно, таким образом, что и область искусства так же, как весь Божий мир, немножко в разладе с новейшей физиологией, которая, чтобы постичь последние начала живого организма, рассекла, убила его и в своих изысканиях дошла до этого неоспоримого результата, что в разложенном и разрушенном организме каждый атом сам по себе и для себя, и по своему существу и законам показывает такие или другие следствия и действия, а все кроме того вздор, теперь только обличаемый строгим

наукой... И живая, творческая мысль художника, объявляющая предмет, сознательно или еще бессознательно, в живой его сущности тоже, видно, немножко расходится с новейшею мыслительностью, которая, например, в учении о так называемых *конечных причинах* никак не понимает того, как оправдывается это учение существом самого дела, именно: как из сущности предмета вывести его конечную причину и как объяснить в сем случае переход от одного предмета к другим, отдельным от него, часто находящимся в случайной с ними связи? Для художника и христианина-мыслителя это просто: одна и та же Творческая Любовь объемлет все предметы и содержит в себе условие всего их существа, ведя все одно чрез другое, или в другом к Себе; потому из сущности же самого предмета или из сущности его положения, условливаемой мыслию Творца и Промыслителя, сама собою следует и конечная причина предмета, она лежит уже в самом основании предмета или положения его. И живая связь одного предмета с другим тут так же или еще более естественна, как, например, естественна связь в живом теле одного атома с другим. Известный предмет, равно как и другие предметы, в которых он имеет свою конечную причину или в себе для них имеет эту причину, держится, движется и существует одною и тою же всеобъемлющею мыслию и волею вечной Божией Любви. Простите меня, что, желая истолковать вашу мысль о творчестве художника, прервал последовательный ход мыслей.

Так, кажется, объяснилась отчасти ваша мысль и о должном выполнении художником идеи всякого предмета, о самом процессе художественного произведения, так же как выше объяснилась ваша мысль об основании и процессе: остается все тайною, ощутимою в своей силе только художником, потому что все дело здесь — в живом прикосновении души художника к мысли Верховного Творца, в проникновении художника искрою этой светоносной мысли, зароненною уже в самой природе художника. Да, «вся поэзия тайна», как вы говорите, все искусство тайна...

Вникая таким образом в самое существо искусства, вы уследили одно и то же коренное основание двух главных, по-видимому, противоположных направлений: именно поэтического искусства — *лиризма*, благоговееющего или восхищающегося пред бесконечною красотою бесконечной Любви, как бы входящего в Ее благоволение к добру и строгое отвращение от зла и безобразия, и *комизма*, пред светом зиждательной Любви разоблачающего всю жалкую и смешную пустоту отступления этой Любви. О различных родах



искусства вообще и в частности поэзии вы не имели случая говорить, и не знаю, что особенно замечательного сказали. Но вами полно и многосторонне раскрыто значение искусства.

Если поэт или художник вообще есть такая натура, что он несравненно глубже и живее других может отчасти ощутить и выражать Всезиждущую Волю, все осеняющую и движущую Любовь Творца и Вседержителя, то понятное дело, что поэт или художник, вообще свято исполняющий свое призвание, есть вместе и глубокий, понимаемый или вовсе лишенный внимания, провозвестник действительности, устрояемой и управляемой сею Любовию, а искусство, поэзия — полная и верная картина нашего быта в его глубочайшем значении, и художник есть также деятельный служитель воспитания и образования людей, могущих понимать и сочувствовать ему, а искусство истинное должно иметь, прямое или незаметное, благотворнейшее влияние на дух людей. В истинном художнике живо отразится приемлемость к небесной милости как вообще человечества, так и в особенности того народа и времени, в котором он живет, и мыслит, и говорит. Глубоко падет в душу истинного художника и отчуждение современной эпохи и родного народа от Божественной Любви, и проникнет душу его ангельская скорбь о человеке, соединенная, судя по натуре художника, или с негодованием на ветреное племя, или с презрением ко всей пустоте и гадости, обуявшей человека, или с светлым благостным смехом на все, губящее его потому только, что человек хорошо не видит и не чувствует всей смешной, ничтожной пошлости своих идолов. И таким образом истинное искусство, достойная своего имени поэзия самые огрубелые души может смягчать, пролагать в них путь духовному назиданию и благоустроению их и даже, при помощи Бога, Который дает силу слову бессильному, может вносить в эти души святыню того, чего никакие силы и орудия не могли бы утвердить в ином человеке. Такое значение искусства вытекает из самого существа его.

Будучи чистейшею, высшею других *личностью* от самого рождения своего, будучи совершеннейшим других порождением *человечества, своего времени, своего народа* \*, великий поэт — истинный художник живо в такой же мере, в какой он верен своему

---

\* Очевидно, что такое превосходство дарования не составляет в поэте или художнике еще ни малейшей заслуги, настолько подвергает его большей ответственности пред раздателем дарований.

призванию и сообразно тому, какой его талант и личный характер, слышит, какая воля Божия совершается над человечеством, над современностью, над родным его народом, к чему направляет и ведет этот народ, эту современность, вообще человека милость небесная или по каким стремнинам стремглав бежит человечество от нее. Потому он может даже много прослышать и будущего о человечестве, о своем народе, может прозревать и в зерне, едва заметном для других, будущий великолепный плод; в такой мере естественно развиться в избранной натуре тому естественному дару, который еще иногда чует и испытывает в себе душа, созданная Творческим вдохновением вечного Божества и особенно еще не забывшая Его, — дару, который мы называем *предчувствием*\*. Эту мысль вывожу я из тех мест вашей книги, где вы говорите подобное, например, сему: «Новое здание покамест не для всех видимо зиждется, и которое может слышать все слышащим ухом поэзии поэт... теперь начинают слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие», и проч. Повторю еще раз, избранный, верный своему призванию художник живо и многосторонне отразит в своих созданиях небесную Любовь, осеняющую человечество, время и народ, в котором он живет, и открытую пред светом или отражением ее действительность, до внутренних ее глубин. Между тем в то же время выразить в своих творениях все — и высокие, и уничижительные — черты своей личности и свободного характера, даже до недовольства малейшим телесным недостатком, хотя не всякому и не всегда заметно это. На все, даже из прошедших времен, даже на иноземное и совершенно чуждое духу его и его народа или прямо на общечеловеческое поэт откликается именно как известная личность, принадлежащая известному народу и времени.

Потому история и поэзия, с одной стороны, представляет вечные и всеобщие идеи творческой любви, выраженные художниками (только бы уметь это выследить), с другой — имея дело с разными личностями художников, идет в связи с историей человечества и народов, открывает самые внутренние движения человеческой и народной жизни в разные времена, дает приметить важнейшие и решительнейшие ее моменты.

---

\* «Поэту дано, — говорил Гоголь в устной беседе, — живее других чувствовать». Не мудрено, что поэтическое чувство упреждает во многом отчетливую мысль и опыт.

Таким образом, по вашей мысли, даже язычник Гомер в своем неутомимом Одиссее, во-первых, оставляет пример на общечеловеческом поприще \*. Вы говорите, что, читая «Одиссею», прежде всего поразились и проникнулись этим общим, живым духом ее содержания: что человеку везде, на всяком поприще предстоит много бед, что нужно с ними бороться, для того и жизнь дана человеку, что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого верного понятия о Боге. И, продолжаете вы, как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотою самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить кого, не запугать длиннотою поучения, но рассеять и развести его невидимо по всему творению, чтобы играя набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно надышались бы тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. После этого, еще и не читая «Одиссеи», а соображая все ваши доселе разбираемые мною основания, понимаю, как и не дерзка, и верна, и естественна эта заметка, сказанная мимоходом: «Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер миф, а все творения его — народные песни и рапсодии!»

Во-вторых, по-вашему, от «Одиссеи» так и дышит временем минувшим; древний человек, во всем своем патриархальном величии и простоте, и именно человек древней Эллады, как живой, так и стоит пред глазами, как будто ты еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как готовится он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировую критерой, как одевается, выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его

---

\* Опять прерву я речь с вами, высокий для меня поэт и мыслитель, и забегу наперед в ту еще часть моего длинного послания к вам, которая не вдруг еще даже и начнется. Вы сказали глубокую истину — такую, которую за пятнадцать веков изрек великий отец Церкви, величайший мыслитель и поэт св. Григорий Богослов. Он сказал об «Одиссее», что она вся похвала добродетели.

колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной закладки у дверей — все перед глазами. Но всего не перескажешь, что вы говорите об «Одиссее». Книга может быть в руках у всякого. Желаящий и сам многое приметит, приметит и более, чем сколько я хотел бы заметить. Я же с первого раза и не брался быть полным истолкователем вашим. Особенно полно и хорошо (и вполне, разумеется, сообразно с вашими понятиями об искусстве) указан у вас характер и услежена история наших художников-поэтов. Наши поэты, по самому существу и характеру православно-русского духа, по значению нашего народа в Европе и человечестве, «всезрящими очами поэзии, достойной этого имени, видят всякий предмет» (и особенно такой, в котором яснее и полнее впечатление небесное) «в законном соприкосновении с Богом». Одни видят это сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа, вследствие своей русской крещеной природы, уже слышит это как-то сама собою. Даже такой поэт у нас, который поэтической душой своей откликнулся не только на всякую высокую черту внутреннего нашего человека, но и на малейший вздох его слабости, и ничтожную приметку, его смутившую, на все великое и ничтожное и во внешней видимой природе, и этот поэт изо всего умел исторгать, с особенною светлостью и силою, электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Божиим. И в мелких, по-видимому, столь мгновенных созданиях этого поэта одаренные поэтическим чутьем слышат живой голос поэта обо всем: «Смотрите, как прекрасно творение Божие!» Впрочем, такое слово услышать и отличать особенную пред иноземными поэтами выразительность и живость этого слова у нашего поэта могут только имеющие особенно чуткое поэтическое ухо. Но есть предметы, о которых чуть ни заговорит этот или другой наш поэт, в речи его раздаются также величественные звуки, в которых уже и не поэты могут слышать некоторые как бы библейские отголоски. Эти предметы, во-первых, Россия, более других народов видевшая и сильнее их слышащая Божию руку на всем, что ни сбывается в ней, чающая и чующая приближение иного царствия, то есть такого порядка вещей, в котором православие раскроется для мира во всем свете своего вселенского царственного значения, как самый свет и жизнь для всего человеческого, даже и дольнее мирского. При одном имени — Россия как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается

величием, становясь выше обыкновенного человека. Заговорит, например, Державин о России, и, со стороны внимая, слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному промыслу, который так явно слышен особенно поэту в судьбе нашего отечества. Другой такой же предмет, где также слышится у наших поэтов этот необыкновенно высокий лиризм, есть *царь* — этот наблюдающий общий строй всего оживитель, верховодец верховного согласия в великом государстве, — эта власть, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, пред которым не устоял бы ни один человек на земле и для выражения и исполнения которого уже достаточно карающей буквы закона, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам: и забвение долга нашего, и самый ропот наш, все, что ни прощает на земле человек, — эта милость, умягчающая закон, этот образ Того на земле, Который Сам есть Любовь. И у нас, по самой природе русской, признают и слышат все такое значение сей власти. И цари принесли к нам тот свет небесный, которого уже сама собою призывала приготовленная земля сердец наших. Цари были виновниками того великого переворота, совершившегося к нашему истинному просвещению родным нам, но глубоко было затаившимся светом; цари и доселе предводительствуют на этом великом поприще, дорожа более всего нашим православно-русским сокровищем, залогом нашего спасения, являя не раз все небесное величие своего звания.

Такое высшее значение монархии прозрели у нас поэты, с трепетом услышали они волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово! Царь. Таков характер нашей поэзии. Обратимся к ее истории.

Уже и в то время когда мы, приняв в недра своего духа Христа и почуяв, что нам больше ничего и не нужно, понемногу стали большинством своим склоняться к духовной дремоте, уже в это время у нас, говорите вы, в груди нашего народа был самородный ключ поэзии, тогда как и самое имя поэзии еще не было ни на чьих устах. Таков этот необыкновенный лиризм, который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда безотчетно возносит дух поэта. Струи самородного ключа поэзии тех времен пробиваются

затем в слове Церковных пастырей — простом, но столь замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину. Струи его же пробиваются в пословицах наших, которые представляют в себе столь животрепещущее слово, проникающее насквозь природу русского человека, — слово, которое может породиться только от ума, проникающего в живую сущность предмета. Струи его пробиваются даже и в песнях наших, в которых мало привязанности к жизни, но (как вы своеобразно выражаетесь) необъяснимый разгул, несущийся мимо жизни и самой песни, как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня рождения своего человек. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое свободное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывающих, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас улаждающая. Так говорите вы. И выше в ваших же мыслях указана причина, почему это так суждено нам. Со времени переворота, произведенного исполином-царем — Петром, начинается собственно поэзия наша. Тут восторг нашей заснувшей было и вдруг возбужденной массы отразился в науколюбивом юноше, этим случаем и попавшим в поэты, так что всякое прикосновение к России и его силы чудотворно, и среди холодных строф вдруг польются у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься (Ломоносов). Потом непосредственно следующего за этим уже действительно великого поэта вдохновляет тоже самодержавное, государственное величие России, но уже не отвлеченные науки, но живая наука жизни его занимает. В его созданиях уже начертался в каком-то библейско-исполинском величии образ непреклонного, твердого мужа, воспитанного на непоколебимом камне Церкви. Однако и этот великий поэт представляет в себе величественную, но дикую и недолго останавливающую на себе скалу (Державин). Потом от распахнувшейся было слишком жизни все у нас застегнулось и стало приобретать наружное благоприличие и стройность поступков; ловкие французские поэты было на время завладели нашими поэтами, хотя и тут наши поэты избирали образцы более близкие к природе, как и в бальной пустоте, в которой очутилась была наша поэзия, слышался же у некоторых русский аромат истинно душевного чувства. Из этой наружной мишурности и пустоты поэзия наша обратилась во внутренний мир и выразила стремление к незримому и таинственному, опять по влиянию, но уже не французов, а немцев, и в то же время поэзия

наша, как бы из боязни испариться во внутренних видениях, стала прикрепляться к земле, выказывая всю прелесть осязаемой сущности. И потом появился у нас как плод всего этого развития, сосредоточивший в себе все прежние элементы, сначала еще не чуждый влияния других, особенно английской поэзии, а потом самобытный поэт в собственном и самом прямом смысле слова, откликнувшийся на все Божие создание (Пушкин). И между тем в то же время как эти собирали и выставляли на вид разные черты русской природы, другие обличали и сокрушали без милосердия в ней дикий бесчувственный застой, и русский живой ум подводил итоги и собирал результаты всей этой жизни (в баснях Кривошеина).

Доселе как-то шло смешение и старое с остатками грубости, и новое с светом блестящим, но холодным и односторонним; а по частям там и тут являлся и истинный, животворный свет, у нас самих таящийся. В одних (как в Лермонтове) уже выразились и страшно их мучили эти противоречия, порожденные европейским просвещением, уже усваиваемых у нас в своей полноте и крепости; в других (как Языков) оказывалась и при сильном даровании какая-то бессознательность настоящего предмета поэзии и пустые выстрелы в воздух; но и в сих отчасти и особенно в заключившем собою прежнее развитие великом поэте уже готова была раздаться и огласить всех величественными звуками чистая, прямая, православно-русская, все объемлющая своим просвещенным взглядом поэзия. Поэт, дотоле не сознавший предмета своего призвания, уже воспел было такую песнь, которой лучше еще и не слышали на Руси, как отозвался тоже поэт (речь здесь о «Землетрясении» Языкова<sup>4</sup>). Уже готово выйти в свет величайшее поэтическое творение древности, имеющее провозвестить нам слово живое\*. Уже художники русские, преданные всей душой своему призванию, чующие Свет всеизводительной Любви, всеми силами стремятся проникнуться во глубине духа чистыми его лучами; уже эта чистая небесная искра и загорелась в них, так что и мысль их ни к чему другому и не склоняется нисколько, хотя против них сыплются укоры и клеветы, хоть грозит голодная смерть... Таким образом, история поэзии и искусства, по вашему взгляду, с особенною ясностью показывает, что и самая светская поэзия, или вообще искусство, оставаясь в своей сфере, по-своему служит Христу, ощущая и отображая свет Его же, светящийся

---

\* Речь об «Одиссее» Жуковского, которая потом уже и вышла в печать.

и в простом человеческом, земном и никакойю здесь тьмою не объемлемый; только прежде было это не так и не у всех сознательно, но виден постепенный ход дела к благодатному (следовательно, сыновне-свободному и отчетливому) сознанию.

<...>

Сказать коротко то, что я и говорил доселе и чего не досказал, ваши мысли об искусстве и поэзии таковы: вы возводите искусство к закону Христову и сим законом уясняете тайну искусства и поверяете его успехи. В этом законе вы нашли последние основания и правила для искусства и поэзии, так же как в нем же, неизменном и едином, — основания и настрой и для всякого рода деятельности, истинная дорога и настрой во всем. Потому все, что прежде было у меня сказано прямо и единственно о законе Христовом, взятом самом по себе (сколько вы уяснили его себе), — все это имеет значение и силу и в искусстве, соответственно существованию этого частного рода деятельности, в том же высочайшем законе, находящем свое основание и условия. Таким-то образом у вас в самой сущности своей объяснен и лиризм и комизм в поэзии. Таким-то образом и язык, этот мертвый капитал для поэзии, у вас уже является сам поэтом; самые звуки поэзии суть трезвонные колокола — благовестники; самое изучение климата, всех принадлежностей страны, из которой берет художник предмет для своей картины, изучение цветов, красок — эта, по-видимому, чисто механическая часть художества, не говоря уже о самом целостном построении художественного произведения, все получает значение и смысл. Это в приложении к искусству есть общая ваша мысль о значении православия или чистой Христовой истины как начала для всего человеческого, даже, так сказать, чернорабочего.

Перейдем к вашим объяснениям лично о себе самом. С моей стороны не будет неприлично коснуться пред вами самими отчасти и того, что касается прямо вашей личности \*, когда вы, некогда не имевшие силы ранее всех услышавшему в вас кое-что великому поэту открыть себя вполне, теперь захотели и были в состоянии заговорить прямо и открыто со столько бесценным вам русским человеком. Вы простите меня, что в иной раз я не могу же не увлекаться вами. Что ж? Уже довольно, кажется, поучили вас столь высоко и вместе искренно ценимые вами, благоразумнейший

---

\* Впрочем, ничего из этого отделения не было читано Гоголю, хотя и были разговоры с ним о его личных обстоятельствах.



христианин, ваши невольные благодетели и доброжелатели при всем своем озлоблении на вас. Теперь иному русскому человеку уже можно сказать вам прямо и без обиняков, как и он с своей стороны понимает и слушает вас. <...>

Вы родились поэтом, и вы с детства же слышали это. Неземную искру, положенную в вашу природу Небесным Отцом, вы всегда носили как лучшее свое сокровище, как знак небесной к вам милости Бога. Она была источником слез, никому не зримых, еще от времен детства вашего. И вы родились русским поэтом, поэтом, принадлежащим нашему времени. Звуки вашей поэзии, говорите вы, взяты из сокровенных сил нашей русской породы, нам общей, по которой вы близкий родственник нам всем, по которой, уже отчасти сияющей светом Христовым, я и не смутился назвать вас своим братом. Да, вы были православно-русским, и Бог поселил в вашу душу, говорите вы, много добрых свойств, но лучшее из них, за которое не умеете как и возблагодарить Его, было желание быть лучшим. Вы не любили никогда своих дурных качеств, с которыми родится теперь вообще всякий человек и которых в вас, говорите, заключалось такое множество, хотя каждого из этих свойств понемногу. Не брали или старались не брать сторон этих гадостей даже и в то время, как не имели еще твердосознательного понятия о всей неизмеримости бесконечного милосердия той Любви, которая дала вам такую натуру и которая еще с детства вашего своими благодатными способами положила в вас свое бесценное, всеосвящающее сокровище благодати. Итак, можно сказать вообще о первой поре вашей жизни: православно-русское живое начало уже действовало в вас, и именно как в поэте, и вы это слышали и хорошо помните, хотя тогда не умели еще дать себе да и спросить у себя в том отчета.

Самому Богу благоугодно было воспитать и испытаниями и горем вашу поэтическую православно-русскую душу, так как Он же из семени — дела Его рук — возвращает стебель, ветви, листья, цвет, плод. Дерево растет из положенных в его семени начал, но оно могло бы засохнуть и погибнуть еще в семени, могло быть подавлено и растоптано ногою, когда еще только пробивалось из земли в виде травы, могло быть подточено червем в своем дальнейшем развитии, срублено при самом расцветании еще прежде всякого плода; но Бог хранит его, посылает дождь ранний и поздний, посылает и свежительную бурю на слабое растение, и дерево понемножку растет, крепнет в материнском лоне Творческой любви. Так бы-

вает и со всяким человеком, не только в физическом и телесном отношении, но и в нравственно свободном и духовном; так живет и все человечество. То же вы видите и слышите и над собой, над своим развитием и воспитанием, русский христианский поэт! Милость небесная понемногу, постепенно давала вам чувствовать и сознавать ваше поприще и назначение и не уклоняться от него\*. <...> Ваше поприще пред вами открылось и определилось, и вы твердо, с самоотвержением пошли по нему, долго, долго в одиночестве, никем не понимаемый, многими озлобляемый, и потому тем более подвизались прояснить и упростить для себя свое дело. На этом поприще в совокупности, не рядом, но одно в другом пошли у вас вперед и внутреннее христианское (оно же и общечеловеческое) очищение и совершение, и служба царю и отечеству, и поэзия... Так каким-то душевным обстоятельством наведены вы были на то, чтобы в предпринятом и начатом вами великом творении («Мертвые души») наделая вашими же гадостями действующих лиц в этой поэме. И в то же время и чрез это же самое вы пытались попотчевать столь бесценного для вас русского человека его же собственными пошлостями и гадостями. И в то же время и таким же именно образом вы творили, пели душою эту великую поэму, в которой все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, вся страшно потрясающая тина мелочей, опутавших нашу жизнь, — выставлены выпукло и ярко на всенародные очи, в которой потому слышна мне милость Отца Небесного, поспешающая постигнуть человека, увлеченного от нее пошлыми и мертвящими призраками. Вас, при усилении отделаться от собственных гадостей чрез навязывание их вашим странным героям, одушевляла в одно и то же время и жажда добра, ищущая его и сгорающая им, и любовь к русскому человеку, данная вам Богом, стремящаяся открыть ему очи и обратить их на его же

---

\* Говоря однажды об училищном воспитании, Гоголь вспомнил свою училищную жизнь, в которой особенно благотельным для самого духовного своего развития находил садовые и огородные свои занятия возделыванием земли, рассаживанием и проч. Всему этому, говорил он, много обязан я тем, что еще свежего сохранилось в душе моей. Таково было первоначальное, еще бессознательное пробуждение и воспитание в Гоголе направления — следить Божию истину и благодать в самой области земного, куда и приходил Христос Из известного рассказа Гоголя, как он в детстве любил рисовать сухие деревья, видно темное пробуждение в нем живого сочувствия, творческой любви к созданиям погибшим...

сокровище, находящееся в таком решительном, критическом положении среди этой борьбы старого и нового, и творческая мысль и сила, которою озарена картина, взятая из презренной жизни и возведенная «в перл создания»: лучше сказать — все это было одно нераздельное живое, действовавшее при написании «Мертвых душ» начало. В своей борьбе за добро против зла вы знаете, что победа первого над последним уже совершена воскресшим Христом, что он вас, наконец, своими судьбами введет же в эту победу, даст ее, хотя отчасти, почувствовать; с своею любовью к России хорошо прозираете это чудесное и прекрасное поприще, ей теперь предлагаемое, и чувствуете, что за рай будет, если она услышит и примет благую о себе волю Божию; и все великое создание, до третьего тома, до живого слова даже из уст Плюшкина у вас уже в голове, в уме и сердце. С продолжением дела и времени все это вам более и более уясняется; потому все дело и жизни, и службы отечеству, и творчества вашего для вас как бы только еще начинается: так не зрелым, не достаточным и мало еще полезным представляется вам все прежнее! Потому первый вышедший том вашего сочинения оказывается пред вашим судом сшитым еще на белую нитку созданием, недоноском; еще далеко он не может произвести того благодетельного влияния на родной народ, какой бы должна эта книга иметь; уже и при самом окончании этого тома вы почувствовали слабость своего характера, малодушие и болезненный упрек себе от всего, что ни есть в России: хотя творческая мысль, любовь к России, стремление к добру вам дали торжественный выход из этого состояния. Потому и второй том сгорел: нужно же поправлять прежние ошибки жизни; нужно же для устремления русского к прекрасному после обнаружения всей глубины мерзости, еще тяготеющей на русском духе, показать для всякого хорошенько, ясно как день, пути и дороги из этой глубины к прекрасному; а это недостаточно было сделано во втором томе; нужно же быть поэтом по своему значению, которого от вас не сокрыл Бог и пред которым оказался несостоятельным второй том. И вы просто, помолясь, по русскому православному обычаю молиться пред всяким особенно важным делом, бросили в печь второй том; и благодарите Бога, что Он дал вам силы для этого. При таком развитии вашем, наш русский православный поэт, при таком возрастающем уяснении вашего долга все удивительно как упрощается для вас: все это поэтическое поприще, на которое вы возведены, так просто, коротко и хорошо умели вы, наконец, выразить... Вы говорите,

и смысленный крестьянин даже поймет вас: «Дело мое душа и прочное дело жизни...» Литературное или простое крестьянское, как и вообще всякое, дело только бы было работою у одного хозяина Христа — и будет оно, очевидно, прочное и душеспасительное дело жизни! С этим вместе, естественно, и вы сами удивительно как упрощаетесь: точно дитя из того младенчества, о котором вы говорили прежде, поведаете нам вы свои задушевные тайны, известные дотоле одному Богу; как в родной, нежно любимой семье ваших братьев, вы говорите с великим народом, чтобы особенно деловые, занимающиеся жизнью люди писали и присылали прямо к вам свои братские заметки на ваше дело, делаемое для них всех, говорите, не смущаясь, о том, что, наконец, действительно может быть дорог для этих братьев портрет с таким самоотвержением любящего их и трудящегося для них брата их; и пишете, точно поете, разные письма к разным лицам по разным случаям и нуждам жизни. Ко всем прежним тяжелым испытаниям присоединившаяся последняя болезнь, которая свела было вас в могилу и при жизни уже доводила до какого-то безжизненного онемения, сделала уже вот что: «Замирает от ужаса душа, — говорите вы, — при одном только предслышании загробного величия и тех духовных творений Бога, пред которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся». И вы открываете самую задушевную свою творческую тайну. «Может быть, — продолжаете вы, — прощальная повесть, которую долго носил я в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога, которая выпелась сама собою из души, воспитанной от Самого Бога испытанием и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы, может быть, прощальная повесть моя подействует сколько-нибудь на тех, которые еще до сих пор считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит, хотя отчасти, строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны». И потом так передаете вы в своем предсмертном завещании своим братьям это творческое сокровище: «Соотечественники! Не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту, прочь пустое приличие! Соотечественники! — говорите вы, собравши весь остаток умирающих сил своих. — Я вас любил, любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его как за лучшее благодаяние; потому

что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас, выслушать сердцем мою прощальную повесть».

К счастью ваших братьев, милость Божия стала поднимать вас со смертного одра. Но слыша еще ежеминутно, что жизнь ваша на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд ваш, на котором, говорите, основана вся ваша значительность как поэта и та польза, которую так желает принести душа ваша, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дадите (скажу слово в слово ваши слова) вы никаких процентов на данные вам Богом таланты и будете осуждены, как последний из преступников... Слыша все это, вы горите желанием быть полезным как никогда еще доселе. И потому издаете некоторые из ваших писем и статей, писанных в последние годы, чтобы хотя сим, говорите вы (как и следует говорить всякому, кто, забывая заднее, постоянно простирается вперед), искупить бесполезность всего доселе напечатанного вами: потому что в письмах ваших, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека (то есть более открыто и понятно сказанное), нежели в других ваших сочинениях. В беседе с близкими вашему сердцу, говорите вы, с которыми почти со всеми случались в последнее время внутренние события и потрясения и которые как бы по инстинкту обращались к вам за помощью и решением их внутреннего дела, — вами при всецелом занятии душевным их состоянием, с забвением своих тяжких страданий, христиански и вместе поэтически решено многое, относящееся к вопросам, занимающим ныне общество... С младенческой простотой и ясностью души просите своих соотечественников прочитать эту книгу несколько раз, а тех из них, которые имеют достаток, просите купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут. Наконец, почувствовав потребность внутренне отправиться в св<я>тую землю, просите, как пред исповедью, у всех прощения, молитв и сами обещаете помолиться за всех пред гробом Господним, как Бог даст.

Вот главные поэтические мысли, которые сказаны живым словом в вашем последнем сочинении! И какая вам только одним и свойственная поэзия во всем! Читая вас, даже не поэт чувствует, как ваша творческая душа с трепетом, хотя немного коснулась той великой системы, по которой и мир стоит, о которой мы говорили с начала моей беседы с вами. Притом вы как поэт и вошли в чудное соприкосновение с этою системою, не самую по себе, хотя и тут вы

остались бы поэтом (потому что эта система — сама дух и жизнь и вы своей поэтической душой это видите и этою жизнью живете), но соприкоснулись с нею в живой действительности, идущей и благоустраиваемой по ее живым законам. Потому в вашей книжке все небольшие письма и литературные статьи ваши поэтически представляют в себе самую живую действительность; каждое из них для меня есть прекрасное и цельное поэтическое создание. Везде жизнь, везде живые люди с определенными личностями, везде наш век с своею живою физиономией, отличающей его от всех веков, и во всем личность поэта, на все взглянувшего христиански просветленным поэтическим взором. Укажу хоть письма на два или на три. Вот — русский помещик с сознанием того высокого значения своего звания, что не он сам, а Бог поставил его в такое отношение к крестьянам, как будто какой русский, могучий духом и телом, патриарх среди своих домочадцев: берет в руки сам топор или косу, лишь появится к работающему народу, как все изворачивается молодцом и щеголем в работе, празднует с своими крестьянами по-христиански и по-русски начало и окончание крестьянских летних трудов, и проч. и проч. И без ваших слов понятно, что такой хозяин-помещик видит на деле сбывающееся на нем слово Господне: *ищите прежде Царства Божия и правды его, и сия вся приложатся*, — богатеет как Крез, тем к большему поощрению всеми силами служить царю и Самому Христу на своем поприще. Из другого письма видится душевная чистота юной христианки в обществе, в простодушных рассказах которой так и сияет, как будто пред очами, всякое простое слово, в улыбке и голосе которой так и слышится человеку прилетевшая с небес его родная сестра, у которой так и светится всем голубиная душа с ангельскою тоскою о людях среди самых развлекательных занятий. Вот и другая женщина, которая, сознав свой долг и вместе нравственное бессилье, с таким усилием, и самоотвержением, и постоянством, сердечно прибегая к помощи одного Бога, начинает собирать всю себя в самое же себя, наконец, быть истинною для мужа помощницею и возбудителем ко всему прекрасному, в жизни которой начинает оказываться столько дела и столь мало остается праздного времени, в хозяйстве устанавливается такая точность и отчетливость, дома простота; которая, наконец, не горит от стыда, если пойдет по городу слух, что у ней не *comme il faut*, — уверяясь истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, какое требует Создатель человеков, а не какой-нибудь сочинитель всякий день меняющихся этикетов, и после своих дообеденных

неутомимых занятий по своим министерствам (из которых одно по делам нищих и несчастных) встречается с своим мужем так весело и радостно для обоих, как бы несколько лет не видались. И во всех этих письмах всякий, кому назначалось то или другое из них, как будто сам говорит себе, а не вы; каждое письмо имеет свой особенный тон, свой язык. Это оттого, что в христианско-поэтической беседе с друзьями в душе поэта отражается вся глубина той души, с которой он беседует; творческая мысль поэта или успокаивается в этой душе, озаряя все красоты ее своим светом, движа ее в самых внутренних ее сторонах, как например в «Путешествии», в письмах к В. А. Ж. и др., или, носясь над любимой душою друга и брата и не в состоянии будучи удовлетвориться ею по внутреннему ее настроению, входит во внутренние глубины ее натуры и, сообразно ее законам и потребностям, благоустраивает возлюбленную душу, начиная иногда это дело сокрушением в ней мертвого и ничтожного, как например в письме к близорукому приятелю, в третьем письме по поводу «мертвых душ» и др. Оттого и выходит во всех письмах живое, глубоко подвигающее душу и совесть слово. Но еще лучше и выше те места в этой книге, где вы, поэт, беседуя с своими братьями, открываете им собственную душу с ее тайнами. Следует только вспомнить эти места, где, например, вы даете нам посмотреть на сияющий в вашей душе свет светлого дня воскресения Христова, которое скликает всех в одну семью небесного Отца, где указываете на нашу Церковь, которая одна, как целомудренная дева, осталась в своей чистоте от апостольского времени и снесена точно с неба для русского народа, в которую столь глубоко входите сердцем и умом; где сказываете о себе: «Как помыслию об этих обителях, как помыслию о том, что у Бога должны быть обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен небесного царства и вопрошен: какую из них хочешь? Знаю только то, что сказал бы: “Последнюю, Господи, но лишь бы она была в доме Твоем!” Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу, лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги». Что это за прекрасные и тихие огни, не жгучие, но оживляющие и тихо освещающие?! Что это за живые небесно-младенческие звуки, которые взялись между тем из сокровенных сил нашего православно-русского духа?! Но еще прекраснее и светлее являетесь вы именно православным, нужным для нашего холодного и гордого времени поэтом, когда

по братскому участию как бы живете одною жизнью с страждущим душевными недугами человеком, которого отвергает гордый филантроп XIX века: «Будто бы легко выносить к себе презрение!» Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком, может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто подвинулся бы жалостию душевною, поддержал бы ее на краю пропасти. Таким образом, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогою любви трудно достигать к его сердцу; будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком XIX века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видеть гноя раны его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханием уст несчастного, гордый благоуханием чистоты своей...

Знаю, что многие со мною говорят: «Да! Вот это наша Россия; нам в ней приятно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своею родной крышею, а не на чужбине».

Но далеко еще не сделано мое дело. Всегда слыша, под какую ответственностию находитесь сами с своим талантом, вы подвергаете той же ответственности и всех, кто не скажет или не все скажет нужное для вас. И я знаю, что вы будете жаловаться на меня Судии, если здесь и покончу беседу, если разумом не выскажу вам всего, что мне слышалось о вас. Потому продолжу свое дело, чтобы оно вышло, наконец, полное и целое. Тот остался бы виноват пред своим внутренним судиею и пред Судиею всех, кто по своим расчетам оставил бы и вас, и многих еще в недоумении, с возбужденными, может быть, но не разрешенными совсем запросами, вместо того чтобы дать уже вам безостановочно идти вперед, по своему, может быть, еще более уясненному для вас поприщу.

Грешно не только мешать, но и не пособлять тому, кто имеет своим делом душу и прочное дело жизни, и притом душу не свою только и дело не одной своей жизни.

